

Блокадная Муза*

Как поэт Ольга Фёдоровна Берггольц окончательно сложилась в блокадную ленинградскую зиму 1941/42 года. Она и сама признавала это:

*Я счастлива,
И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.*

...Трудно назвать другого поэта, которого бы любили так, как любили Ольгу Берггольц осажденные ленинградцы. Как ждали они ее выступлений по радио, как прислушивались к ее голосу.

Много лет прошло с той блокадной зимы, унесшей более полумиллиона жителей города. Однако я, обыкновенный ленинградский мальчишка, до сих пор не могу забыть, как поддерживало нас тогда радио. Возможно, для иных это был последний обрывок живой речи, едва уловленный тускнеющим слухом. Ведь радио тогда не выключал никто, иногда оно оставалось единственной связью с внешним миром. Если звучал радиоголос, значит, и сегодня фашистам не удалось прорваться ни на одну из наших улиц, иные из которых упирались в передний край.

Помню, в большом шестиэтажном доме возле «Электросилы» к февралю 1942-го уже не было ни одного живого человека, но из квартир по-прежнему слышались радиоголоса. Они сообщали последние известия, передавали приказы, разъясняли, призывали... Можно было подумать, что люди, ведущие эти передачи, не верили в смерть, отрицали ее грозную и очевидную реальность. Они действительно не верили, не могли верить в торжество смерти.

Среди них была Ольга Берггольц, написавшая:

*Покуда небо сумрачное меркнет,
Товарищ, друг, прислушайся, поверь.
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны,
Мы — смертью попирающие смерть.*

Ее стихи, ее голос выделялся на фоне других своей совершенно особой интонацией. А ведь к слушателям обращались в те дни по Ленинградскому радио и бурно пламенный Всеволод Вишневский, и сдержанный, но глубоко патетичный Николай Тихонов, и многочисленные актеры, и дикторы. Но голос Берггольц приковывал к себе внимание абсолютным тождеством между суровой блокадной жизнью и речью, доверительной и мужественной, пробивавшейся из сумрака боли к свету надежды.

*Из недр души
я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань ее...*

Едва Берггольц произносила первые слова, как ее интонация становилась как бы интонацией каждого ленинградца. Слушатели воспринимали ее слова как свои, только многократно усиленные. И слова объединяли людей в то «великое блокадное братство», имя которому мужество Ленинграда, смертью поправшего смерть.

...Недавно опубликованы некоторые письма Ольги Берггольц той поры. В одном — к сестре — она так описала свое выступление:

«Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала: не дочитаю, — помру. Правда. И потому говорила задыхаясь и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что, помимо текста, именно это «исполнение» и пронзило ленинградцев. Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении...»

А вот ее запись о «Февральском дневнике» — поэме, созданной в 1942 году, в самое тяжкое время блокады: «Не все строфы достигли нужной прозрачности и веса, но могу сказать прямо — большинство строф больны, живы, как сама жизнь...»

Наверное, по этой причине самые обычные слова в лирике Берггольц начинают светиться каким-то необычным светом, мгновенно электризуя и заражая душу слушателя или читателя. Надо ли говорить, что ее песнь была песнью народной? Прежде всего по своему смыслу, охватывавшему разом многих людей, но также и по своей форме, так как поэтессу слушали даже те, кто никогда ранее не слушал и не понимал стихов.

Много лет спустя, после блокады и войны, перечитывая в который раз стихи Ольги Берггольц, большинство которых чудодейственно, вопреки десятилетиям, оживало, живет и сейчас звучит так, как когда-то произносилось в первый раз, я понял, как глубоко и ясно осознавала Ольга Федоровна свою роль, роль всей творческой интеллигенции в осажденном Ленинграде.

* Из книги: Алексей Павловский. Голос Памяти

Об этом свидетельствуют и строки из ее «Попытки автобиографии», написанной тридцать лет спустя. Ольга Федоровна отмечала:

«Я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла: наступило мое время, когда я смогу отдать Родине все — свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы.

*Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!*

Что означало быть писателем в годы войны и ленинградской блокады?

Означало за все отвечать и не бояться ни смерти, ни фашистской виселицы. Я горжусь тем, что принадлежу к советской интеллигенции, которая вела в те годы в Ленинграде большую идеологическую работу. Мы были пропагандистами. Мы откликались на события оперативно, мгновенно и — самостоятельно. Какая удивительная была тогда сверхмобилизованность духовных сил народа и его творческой интеллигенции! Я говорю это с полной ответственностью за тех, кто оставался в заблокированном Ленинграде».

Жизнь Ольги Берггольц была неотрывна от жизни блокадного Ленинграда, а потому, раскрывая себя, она точно и правдиво рассказывала ленинградцам о них самих. Зимой 1942 года, когда «исчез, отхлынул быт. И смело в права свои вступило бытие», особенно в феврале, месяце смерти, жизнь большинства ленинградцев шла по самой кромке бытия.

Быт с его заботами и суетой начисто исчез из наших квартир: были лишь жизнь и смерть, остались лишь хлеб и дух. Хлеб и дух — самое изначальное и основное в человеческой жизни — вышли наружу, сделались главными и образовали собою бытие. В тогдашней ленинградской жизни дух был неотъемлем от слова. Мне даже кажется, что дух и слово сделались синонимами, потому что ничего уже не оставалось кроме слова-утешения, слова-надежды и слова-призыва. Ольга Берггольц, «по праву разделенного страданья», взяла на себя эту невиданно тяжкую и опасную ношу.

* * *

*Ольге Берггольц,
Блокадной Музе*

В Ленинграде зима, всё засыпано снегом.*
Тихо дремлет Нева, погружённая в негу.
Жёлтый свет фонарей, снег хрустит под ногами,
И кругом тишина. Мир, что длится годами.
Только память опять в сны приносит бомбёжки.
И уже никогда ты не выбросишь крошки.
Хлеб и Жизнь. И Весы хлеб, как жизнь, отмеряли.
И тебя вот спасли, а родные... не встали.
Зимний холод везде, всё в квартире застыло.
За водой — к полынье, только сил бы хватило.
Лишь один метроном, ленинградский трудяга,
Всё стучит и стучит, поражая отвагой.
Ты один. И последние силы ушли.
Всё куда-то поплыло.
Надо просто прилечь...
И забыть... то... что было...
Вдруг в холодную тишь женский голос ворвался.
В дом блокадный сквозь мрак луч надежды добрался.
И стихи полились, прямо в сердце стучали:
«Не сдавайся! Живи!» — будто клятву кричали.
Этот голос звучал громче залпов «Катюши»,
Сквозь бомбёжки и голод, сквозь объятия стужи.
Женский голос всё звал не сдаваться и верить,
В каждый дом проникал сквозь закрытые двери.
«Значит, я не один, значит, рано смиряться...»
И с постели ты встал, чтобы в жизнь возвращаться.

* Автор стихотворения: Н.А. Хаустова, родилась в Ленинграде в 1944 году.
(Из сборника «Мозаика дилетантов», вып. 2. СПб.: «Мозаика НК», 2005.)